

С КЕМ СМЕЕМСЯ?



Разрешите представить: Андрей Егорович Макаёнок. Драматург. Пишет только комедии, иногда сатирические, чем, собственно, и знаменит. Депутат Верховного Совета БССР, главный редактор литературного журнала «Неман». По-моему, человек интересный. Добр, храбр, горяч. Эти качества, как думается, и придали его таланту сатирическое направление. Недоброму человеку всегда ближе своя рубашка. Робкий никогда не возьмется за сатиру. Ну, а спокойный вряд ли доведет ее до подмостков.

Тут, полагаю, самое время задать Андрею Егоровичу первый вопрос.

— Мы подружились много лет назад, вскоре после шумного успеха «Камней в печени» («Извините, пожалуйста»). Чем памятна тебе эта пьеса?

— Она помогла мне войти в театр, причем в хороший. В Центральном театре Советской Армии пьесу ставили Алексей Дмитриевич Попов и Давид Владимирович Тункель. Они приобщили меня к высокому искусству, которому сами служили верно и вдохновенно. Я понял, как много зависит от режиссера—художника, переводящего созданное тобой с языка драматургии на язык сцены. Эта пьеса познакомила меня с такими чудотворцами, как Любовь Добржанская и Петр Константинов, Глеб Глебов и Борис Платонов. Через них я навсегда полюбил театр. Я имею в виду и зрителей, без которых актер—в вакууме. И автор. Только так ведь пьеса получает свою подлинную жизнь.

«Камни в печени» поставили около двухсот театров. Успех я объясняю не столько мастерством—откуда ему тогда было взяться,—сколько остротой и злободневностью жизненной проблемы, которую я попытался решить правдиво и весело. Могут сказать: ему-де повезло. Ведь поначалу пьеса многим «не показалась», и судьба комедии складывалась невесело. На публикацию, тем более постановку, надежд почти не оставалось. Но я-то, зная жизнь деревни, ее послевоенные трудности, был убежден, что так долго продолжаться не может, верил, что обязательно партия внесет перемены. И они, разумеется, наступили.

Главный редактор «Театра» Николай Погодин срочно вызвал меня в Москву. Что-то выдернули из уже сверстанного десятого номера журнала и вставили туда «Камни...»

Столь стремительная популярность меня насторожила. «А что дальше?—спросил я себя.—Дерзнул? А дальше?»

— Но, прежде чем ты на него ответишь, скажи, а что было прежде?

— Средняя школа в Журавичах на Рогачовщине, служба в горнострелковой дивизии в Закавказье. Политруком роты участвовал в Феодосийско-Керченском десанте. Бежал с хлопцами в атаку, как вдруг рядом разорвалась мина. Мины всегда разрываются вдруг. Одна, а тут же и вторая. Да по ногам. Дырок насверлили проклятые штук семнадцать. Очнулся в полевом госпитале. Через несколько дней собрался скорый и, как выяснилось, неправый суд-консилиум решать мою судьбу. Приговор был суров: «Гангрена. Ампутировать обе ноги». И тут—век его не забуду!—подошел ко мне пожилой военврач Бугаенко. Ему, наверное, еще и сорока не было, но мне, двадцатилетнему, он казался пожилым. Наклонился и говорит: «Вот что, сынок, я нарушаю врачебную этику, но молчать не могу. Никогда себе этого не простишь бы. Никакой гангрены у тебя нет, не давай ампутировать ноги».

Оружие с меня сняли, когда в госпиталь привезли. Но трофейный парабеллум в полевой сумке под головой остался. Словом, я к себе никого не подпустил. Только ослаб вот очень—от потери крови, ну и не ел ничего: боялся, снотворного подмешают. Молод был, наивен.

Легал в полубредовом состоянии, когда через сутки пришла сестра: «Готовься к эвакуации». Не верю. «Пусть,—говорю,—Бугаенко скажет». Тот подтвер-

ждает: «Повезло тебе, комиссар. Эвакуируют из-под Старого Крыма раненого партизана. Остается в У-2 еще одно место».

Вывезли меня на Большую землю. А на другой день фашисты навалились на наш десант и смаяли его. Мало кто спасся тогда.

— Как ты стал писать, когда почувствовал в душе «священный огонь»?

— Поначалу было не до «огня», нужна заставляла. Работал я сразу после войны—как снова ходить научился—секретарем Гродненского горкома комсомола. Чем занят девчат и хлопцев после трудового дня—ума не приложу. Костелы действуют на полный ход, там стройные песнопения, торжественно рокочут органы веками отработанные мистерии. А у нас полная неустойка: ни книги, ни пьес, ни нот, ни песен—ну, ничтошеньки. Как хочешь, так и выкручивайся. Написал слезное письмо в Минск. Ответили, а что толку—и там ничего нет. Разозлился очень. Сел и сам написал одноактную пьесу. А тут объявили республиканский конкурс. Хлопцы и подначили: «Давай в конверт!» Послал и забыл.

Прошло время. Я работал уже в Могилеве, как вдруг телеграмма: «Приезжайте за получением премии».

Я все же удивился. Всякое в жизни бывает. Но люди сведущие в Минске настойчиво советовали: «Пиши!» Послушался. Снова конкурс—и снова премия. Вот тут-то я призадумался, понял—учиться надо. И поехал в партийную школу. Перечитал, сдаюсь мне, всех драматургов от Еврипида до Погодина. Был редактором отдела прозы сатирического журнала «Вождь». Написал пьесу «На рассвете»—о борьбе за мир французских трудящихся. Кстате сказать, с тех пор почти весь мир обехал, а во Франции так и не побывал. Не судьба... Откуда же мне было взять знание деталей быта, нравов далекой страны—вот и получилась она суховатой, дидактичной.

Значит, нужно писать о том, что знаешь. К таким истинам тоже приходишь опытным путем. Лучше всего я знал жизнь послевоенной белорусской деревни. О ней и стал писать.

— А война? Не странно ли, что ты так поздно к ней обратился?

— Видишь ли, тут дело непростое. Я понимал, нутром чувствовал, что не может, не должен такой огромный по весу, значимости кусок жизни, как война, пройти бесследно. Но как, о чем писать? Этого-то я не представлял. Война обернулась ко мне самой трагичной своей стороной. Беречь старые раны не хотелось: во-круг все так радовались победе, так и без того трудная была послевоенная жизнь. Но вот спустя много лет я стал замечать, что при встречах с друзьями, бывальными людьми, о войне вспоминаются больше веселые эпизоды. И чем дальше события, тем ярче юмор даже в трагических обстоятельствах. А не в этом ли ключ моей военной темы? Ведь то, что мы в самые трудные времена не теряли присутствия духа и даже юмора,—ведь именно в этом и выражалась наша абсолютная убежденность в грядущей победе. Так родилась трагикомедия «Трибунал». Новый для меня, да и вообще не очень утвердившийся у нас жанр.

Дал я почитать рукопись молодому, способному режиссеру. Встретились, а он мне в лоб: «Пьесу вашу ставить не буду, она мне не нравится». Скажу без ложной скромности, что я с ним не мог согласиться. Но и спорить не стал. Предложил прогуляться и разговор завел, нет, не о пьесе, а о войне, как я понимаю жизнь человека на войне. В общем—поговорили. Порассказать было что... Перед тем как проститься, я снова протянул режиссеру рукопись и сказал: «Вы читали не мою пьесу. Теперь я прошу вас прочитать то, что я хотел сказать». Режиссер прочел ее другими глазами. Его спектакль я считаю лучшим.

— «Затюканный апостол» был неожиданностью. Такого сюжета, мне кажется, от тебя не ожидали. Чем вызвано обращение к новому материалу?

— В поездках по свету незаметно накапливаются, накладываются впечатления. И однажды наступает час, когда они о себе напоминают, требуют осмысления. Вот и я почувствовал острую потребность поразмышлять над тем, что творится в мире. Мы живем в такое время, когда к событиям в каком-либо до того неведанном захолустье может вмиг подключиться вся планета. Мне хотелось передать настороженность каждого человека к тому, что происходит, не указывая конкретно где—на Мальте или в Гондурасе. Попытаться добраться до души зрителя: если это взволновало юнца—моего героя, то что же мы, взрослые? Я и вложил ему отчасти свое передуманное, выношенное, отчасти идеи, взгляды молодеж-

ного движения на Западе, по-моему, еще не отстоявшегося, в чем-то противоречивого, но бунтарского, непримиримого. Талантливый парня поместил в такую социальную среду, где из него с равным успехом может вырасти и борец за мир, и фашиствующий подонок.

— Легко ли, трудно ли пишется?

— Всякое бывает. Больше всего работал, пожалуй, над «Апостолом». Когда писал на сельские мотивы, то при локальности темы и форма соответствующая легче давалась. А тут для меня все было ново: и материал, и жанр. Сам материал трудоемкий, с налету не сделаешь.

— Когда-то ты обещал написать пьесу, смешную от первой фразы и до последней. Не оставил ли эту мечту? Или она уже осуществлена?

— Молодой был, неопытный—вот и пообещал. Проблема ведь не в том, чтобы смешно было. А над чем смеяться! Точно выбрать адрес: над кем смеяться, с кем смеяться... Самую веселую свою пьесу еще не написал.

— Было бы любопытно узнать твое мнение о Макаёнке-драматурге?

— Ничего, со временем научится писать. Старается, не ленится.

— ...редакторе толстого журнала?

— Это увлечение, от которого надо отказываться. Оно мне уже мешает. Была честолюбивая мечта сделать журнал общесоюзным, по значению, весу. Кое в чем мы преуспели. Однако работы впереди воз и замеслов-тележка.

— Как складываются отношения с режиссерами?

— Не могу пожаловаться, хотя сценические решения моих пьес бывали очень разными. Может быть, потому, что всегда терпелив, с пониманием относясь к манере художника. Игорь Владимиров поставил в Ленинграде «Левонику на орбите» так, что я удивился и шепотом спросил у него: «А так можно ставить?» Спектакль был в высшей степени озорной, веселый. Хорошо работаете с В. Н. Плутеком, Е. В. Радомысленским. А любимый театр все-таки свой—имени Янки Купалы.

— ...с критиками?

— Развернутых литературоведческих работ о себе не читал. Видимо, их нет. В коротких рецензиях самое важное для меня: понял я или нет.

— Не раскисаешь ли, что выбрал путь сатирика?

— Другого теперь уже не представляю. Однако терний достаточно, и порой не знаешь, откуда их ожидать. Хотя нет, вру, теперь уже знаю, где колючки растут. И знаю, с чьей помощью их выдергивать.

— Кто переводит твои пьесы на русский язык?

— Сам перевожу. Когда-то принес Н. Погодину в редакцию журнала «Лявонику на орбите» с русским подстрочником. Назавтра он мне и говорит: «Какой же это подстрочник. Это и есть перевод. Брось дурака валять. Коль можешь, то только сам себя и переводи. А если кто придраться станет, скажи: «Это мне Погодин так велел».

— Теперь модно «переключаться». Поэты пишут прозу, прозаики, правда, воздерживаются пока от стихов. А что драматурги?

— Театр требует лошадиного здоровья, буйволиных нервов. Я ему подхожу. Вот когда со здоровьем станет похуже и лет заметно прибавится, возьмусь за прозу. Есть даже заготовки—то, что не ложится в драматургический жанр. Есть и монологии. Их у меня куча, про запас... Пригодятся... Пока кое-что лежит без движения, дозревает, дожидается своего часу. И не обязательно драматургического.

С так называемыми заготовками порой неожиданные вещи случаются. Одного из центральных персонажей «Лявоники на орбите»—Лявона я решил сделать бессловесным. Свое отношение к происходящему он должен был выражать жестами, чаще многозначительными, иногда зловещими: «Эге», «Ну и ну» и тому подобное. Сам понимаешь, для исполнителей этой роли литературный материал отнюдь не блестящий. Чтобы облегчить актерам «проникновение», «вхождение» в образ, я специально для них написал внутренние монологи Лявона. А потом так жалко стало «пропадающего зря добра», что не удержался и вставил их в текст пьесы.

— Если не суеверен, то что нам от тебя ожидать в ближайшем будущем?

— Кое-что есть. Дорабатываю, шлифую. Одну пьесу дал почитать знатокам, высказали дельные советы. Кстате, знаешь обычай испанских крестьян? Когда ребенок болеет, то его торопят перекрестить, дать новое имя, чтобы вся хвороба осталась со старым.

Конечно, я совсем не суеверен... Но название этой пьесы все-таки заменил.

Ответы записал Н. ЕРМОЛОВИЧ.